



Часть первая

# ДЕТСТВО ГУРЕВИЧА



### *Родимая обитель...*

Семья была врачебная, и это определяло всё — от детских игр до трагической невозможности нащёлкать градусник до тридцати восьми. Но с мамой и не забалуешь: резкая, властная, она каждому воздавала по заслугам и мнения при себе не держала: если сделал что-то умно и ловко, это у неё «нормально». Если плохо, пеняй на себя. Спросит только: «Ты идиот или прикидываешься?» «Нет, я не прикидываюсь», — возражал торопливо сын. Перед мамой всегда хотелось немедленно оправдаться.

Работала она в женской консультации № 18 при Октябрьской железной дороге. Проводницы, буфетчицы, билетёрши и контролёрши — весь женский железнодорожный состав — были её пациентками. Всё трудные советские судьбы, израсходованные советские тела.

«Суть маминой профессии, — заметил как-то папа, — увы, далека от поэзии».

12 «Суть твоей профессии, — немедленно отбила мама, — поэтичной тоже не назовёшь».

Папа, врач-терапевт, работал в психиатрической больнице. Был он красавец, романтик, член Пушкинского общества; всего Пушкина знал наизусть, а взятки брал только книгами.

Работали оба на полную ставку, и потому маленький Сеня рос, как трава, — по телефону. Родителей видел редко, но слышал почти постоянно:

— Почисть картошку... Почистил? Порежь её кубиками, и с ножом там осторожней, без идиотских штук... Теперь набери в кастрюлю воды, примерно до середины...

Одной рукой мама держала телефон, а что там делала другой рукой, можно только вообразить. Как и многие медики, родители не слишком заморачивались иносказаниями, обсуждая при сыне трудные врачебные случаи, так что поначалу смутно, затем всё детальнее Сеня представлял панораму их профессиональных будней.

Когда сын простужался или выходил на каникулы (то есть когда маячил перед ним худосочный призрак маломальской *свободы мысли и воображения*), мама говорила: «Балду пинать?! Нет уж, дудки!» — и забирала Сеню с собой на работу. Там она его нагружала каким-нибудь медицински полезным делом: выдавала почковидный тазик, полный щепками, и Сеня эти щепки строгал перочинным ножиком. Затем наматывал на них тонким слоем вату — получались палочки для вагинальных мазков.

Мальчик трудился, он любил простую артельную работу: сиди-строгай, двумя пальцами вытягивай из комка ваты тонкую дорожку, наматывай её, думай о чём хочешь. Это и есть *свобода мысли и воображения*.

Веер вагинальных палочек в металлическом стакане — привычная с детства картина...

...Бывало, и папа брал его с собой на работу, и это было куда интересней.

Городская психиатрическая больница № 6 размещалась на территории Александро-Невской Лавры. Сеня с папой выплывали из-под земли, от метро брали вправо, переходили Невский у самого-самого последнего дома и по узкой дорожке (серый зернистый асфальт, щербатые поребрики) шагали между некрополей в ручейке очень странных людей: семенящих старушек в чёрном, юношей с распущенными, как у русалок, власами, мужчин в длинных чёрных платьях.

Давным-давно папа объяснял, что дамские мужики — это священники, а патлатые юнцы-русалки — их студенты.

Дальше — мост через речку Монастырку, и вот она, Лавра.

Летом за воротами Лавры очень красиво: всюду розы, розы... В их спутанной багряно-белой волне утопили всеми позабытые (даже буквы стёрлись!) могильные камни.

Но ручеек чёрных старушек, женщин в косынках, длинноволосых юношей струился даль-

14 ше, к самому сердцу Лавры — Свято-Троицкому собору. На православные праздники здесь собирались толпы верующих. Мощный и невесомый одновременно, он царил над купами деревьев, над мраморными и каменными надгробиями, над речкой и кустами-цветами...

Папа никогда не упускал случая втемяшить сыну какую-нибудь историческую или архитектурную дребедень: «Видишь, — говорил, — шлем купола тяжёлый, лежит на подпорке такой с шестнадцатю окнами, называется «барабан». У папы спрашивать что бы то ни было просто опасно: тебя занесёт пургой непонятных слов, сам не рад будешь, что спросил. И от стихов не отошьёшься, зажужжит роем пчёл:

*Когда великое свершалось торжество  
И в муках на кресте кончалось божество,  
Тогда по сторонам животворяща древа  
Мария-грешница и пресвятая дева  
Стояли две жены...*

Как это — две жены? Бабушка Роза говорит, что порядочный человек худо-бедно обходится одной женой. Вот у папы худо-бедно — мама, у деда Сани — бабушка Роза. Может, кто-то шустрый хапнет сразу двух жён и хвастается: а у меня, мол, их целых две, не худо и не бедно!

Их путь пролегал через всю территорию Лавры. Если не слишком торопились, они заглядывали в любимый уголок: от стены храма влево бежала дорожка к заброшенному кладбищу. Здесь в центре позабытого всеми некрополя высилась башня:

тоже всеми заброшенная и позабытая, грустная заколоченная церковь. Обойдёшь её, а там — спуск к совсем уж деревенской речке, где плавают утки, а в высокой сочной траве по берегам — брызги жёлтых одуванчиков. И шмели гудят, и зеленова-то-белых капустниц ветерок носит, как на даче. Прямо не верится, что это — центр города.

Среди старинных склепов, каменных ваз и крестов с выбитыми на них полустёртыми буквами можно ходить часами, осторожно пробираясь между надгробиями.

— Не наступай на могилы, — каждый раз напоминал папа, — уважай покой мёртвых. *Решётки, столбики, нарядные гробницы, Под коими гниют все мертвецы столицы...*

А вот главное: над изгибом речки, на откосе стоит полуразрушенный склеп с башенкой — окна запылённые, в паутине, кое-где даже разбитые. Сказочный домик крепко уснувшей, да так никем и не разбуженной Спящей Красавицы.

Но под решётки окон кто-то подсовывает маленькие пластмассовые розы; иногда придёшь — а там новые. Это усыпальница Анастасии Вяльцевой, старинной певицы такой. Папа рассказывал, что до революции к её ногам *бриллианты бросали*, слава гремела по всей России, а умерла она совсем молодой, от чахотки. Мама говорит, тогда все от чахотки умирали: ноги промочил, вот тебе чахотка. Ну и забыли её совсем, тем более что романсы уже не в моде. Хотя приходит же кто-то, цветы приносит...



16      Однажды зимой они видели протоптанную в снегу тропинку. Там у склепа человек стоял — бородатый, *особенный*, голову так задумчиво склонил. Красиво и печально, как на старой открытке, Сеня даже засмотрелся. «Ладно, — сказал папа, — пошли, не станем человеку мешать, пусть скорбит. ... *чтоб долго образ милый Таился и пылал в душе моей унылой...*»

Сеня спросил: «Он её возлюбленный?» — «Ты спятил? — удивился папа. — Все её возлюбленные давно в земле сырой...» Ей-богу, папа так и выражался, причём всю жизнь, посреди обычного рабочего дня. «Тогда чего скорбеть», — подумал Сеня.

Словом, Лавра — это была беспредельно-отдельная страна внутри города, которую они проходили из конца в конец, пока на задворках не упирались в глухой забор и неприметную железную дверь *папиной психиатрии*. Когда-то — духовное училище, ныне — жёлтый дом, психушка, это здание обособленно и угрюмо стояло среди высоких деревьев.

В наши дни, в эпоху террора школьных психологов, подобные посещения ребёнком сумасшедшего дома выглядят по меньшей мере возмутительными. Но Сенино детство протекало в открытом и любознательном мире прилюдных драм и мордобоев, трагических судеб, увлекательных похорон, весёлых поминок и распахнутых во все стороны детских глаз.

Сумасшедший дом был пристанищем людей необыкновенных. Папа называл их больными, но Сеня приглядывался к каждому, подмечая крошечные... ну совсем чуть-чутные признаки притворства. В целом, тут была спокойная, даже задумчивая обстановка: люди в пижамах двигались медленно, обстоятельно, казались погруженными в свои мысли. Впрочем, изредка кто-то кричал, как раненая птица, и тогда все остальные замирали и прислушивались. А того, кто криком пытался прорваться за пределы этого мирка, *брали в ординаторскую*.

— А что там с ним делают? — беспокоился Сеня. — Наказывают?

— Ну что ты, милый, — отвечал папа. — С ним беседуют. Если надо, добавляют лекарств...

Здесь у папы был свой кабинет с самой спартанской обстановкой: письменный стол, стул, кушетка, кардиограф и шкаф с историями болезней. Дверь без ручки закрывалась на «психиатрический» ключ, окно было забрано мощной решёткой.

Но за окном... Там росли старые клён и берёза. Стояли в страстном переплетении ветвей так тесно, так близко, будто муж и жена, прожившие целую жизнь: артритные, скрюченные, вечно вместе, так что и не разобрать, где кто, они будто противились расставанию. Осенью клён становился розовым, потом загустевал багрянцем и пламенел, а берёза плескалась прозрачным

18 и звонким золотом. Окно волновалось и вскипало золотом и багрецом, комната преображалась, и сама радость вскипала и ломилась в окно, торжествуя и чего-то настойчиво требуя.

Но Сене и зимой совсем не скучно было крутиться здесь целый день: он *был на подхвате*. И понимал, насколько это серьёзно: это вам не вагинальные палочки строгать.

Папа осматривал соматических больных, делал кардиограмму, потом расшифровывал её с помощью циркуля; Сеня же собирал разбросанные по всему кабинету ленты кардиограмм и вкладывал в истории болезни. Почерк у папы был совершенно невозможный, и потому он диктовал сыну даты и фамилии больных, а тот писал их на карточках крупно-разборчиво.

В присутствии ребёнка папа, конечно, принимал только *спокойных больных* — их приводили санитары. Это были замедленные, слегка потерянные люди в застиранных халатах без пуговиц и кушаков. «Почему?» — спросил как-то Сеня. «Пуговицы сожрут, на кушаках повесятся», — ответил папа. Никогда Сеня не понимал: шуточно или грустно папа объясняет такие вот ужасные вещи. Пока он беседовал с пациентом, а тот кутался в халат, покачиваясь на стуле, как метроном, Сеня скашивал глаза на тумбочку с историями болезней и вычитывал из открытой страницы нечто малопонятное, но завораживающее:

*«Психический статус: двигательно беспокоен, тревожен, ходит по палате взад-вперёд, с опаской озирается по сторонам. Даёт о себе некоторые анамнестические сведения, но не датирует основные события своей жизни, не помнит, когда окончил школу. Говорит с напором, повышает голос, речь приобретает характер монолога. Родителей считает неродными: “они только притворялись, а квартиру дал лично Сталин”. Темп речи ускорен, суждения непоследовательные, противоречивые. Сообщил врачу, что «знает 18 иностранных языков, а понимает ещё больше, имеет 6 высоких предназначений». Понижает голос, прикладывает палец к губам, со значением смотрит на врача и шёпотом произносит: “Чтобы ОНИ не услышали”. Критики к высказываниям нет».*

Больше всего Сеня любил, когда папа слушал больных. Иногда папе так нравились какие-то хрипы в лёгких, что он подзывал сына, вставлял ему в уши стетоскоп и просил больного глубоко дышать. Больной старательно дышал, глядя на мальчика послушными медленными глазами, а папа спрашивал: «Ну? Что ты слышишь?» — и сердился, если Сеня не слышал ничего.

Словом, детство Сеня провёл между женской консультацией и психбольницей, строгая щепки для вагинальных палочек или разглядывая психов.

Это отразилось на его дальнейшей судьбе: Сеня всю жизнь любил и оберегал женщин, но работал с сумасшедшими.

Он рос болезненным ребёнком, и не как другие хилые ленинградские дети, а экстремально болезненным. Папа говорил, что Сеня — не человек, а медицинский случай и в этом качестве его непременно надо вставить в учебник по педиатрии. Всеми хворями, какими нормальные дети болеют по одному разу, Сеня болел трижды. Дорогуший профессор Тур — растерянные родители приглашали его, когда сын заходил на третий круг с какой-нибудь ветрянкой — стоял над мальчиком, опухшим, или покрасневшим, или покрытым волдырями, и говорил: «Этого не может быть!». «Но вот же он перед вами!» — восклицала мама чуть ли не с торжеством. Своим жалким существованием этот ребёнок буквально разорял семью.

Между тем мама никогда не брала денег со своих пациенток. От конфет не отказывалась, конфеты были валютой: их передаривали учителям, врачам и нужным людям в жилищно-эксплуатационной конторе. Конфеты быстро уходили, но иногда возвращались к дарителям — как корабли, помятые штормами, возвращаются из кругосветного плавания в старые доки.

Однажды кто-то из гостей подарил маме роскошную коробку конфет цвета спелого граната с тиснёной гирляндой золотых роз. Когда гости ушли, мама глянула на срок годности и вздохнула: этот корабль надо было списать три года назад. Она была сурова во всём, что касалось све-

жести любого продукта. «Коробка знакомая... — пробормотала мама. — Смутно знакома мне эта коробка». И перед тем как выбросить, в неё заглянули из любопытства; к тому же Сеня любил серебристые и золотистые листы пухлой бумаги, что покрывали ряды конфет. Он делал из них голубей; запущенные с третьего этажа, те сверкали на миг под небом двора-колодца, поймав солнце на острое крыло.

В коробке поверх седых от времени конфет лежала поздравительная открытка «С днём Восьмого марта!». «Точно, — сказала мама. — Это мои конфеты, я их дарила Сильвии Платоновне пять лет назад».

Ленинград всегда был городом голодным и холодным: фрукты — только на рынке, да за бешеные деньги. Но доктор Гуревич, мама то есть, наладила поставки через благодарных пациенток: фрукты-овощи ей доставляли проводницы поезда Ленинград — Одесса.

Само собой, мама за всё платила, но стоили эти фрукты — трёшка ведро. Да и не в этом дело. Что за яблоки были там, что за персики! Черешня — с детский кулак! А вишня, кровавая россыпь вишни! А пунцовые помидоры «бычье сердце» — они разве что не пульсировали в ведре!

За два-три дня дороги фрукты дозревали, потом наливались, потом слегка подплывали... и начинали мироточить и пахнуть, как сам слегка подгнивший, слегка подплывший райский сад.

22        Недели на полторы их коммунальная квартира пропитывалась сладкой истомой зрелого августовского рая. Неподготовленный субъект, ступив на порог, просто падал навзничь с застывшей улыбкой.

«Жрите, идиоты, пока всё не испортилось!» — кричала мама. И Сеня с папой наваливались на фрукты. Спорить с мамой — себе дороже. Велено жрать, значит, надо подналечь и исполнить.

Оставшееся «закручивали»...

Это было прекрасно, но и ужасно: с приближением сезона Сеня с папой начинали тосковать в покорном ожидании своей рабской участи на плантациях домашней консервации. Мама загодя покупала трехлитровые банки, отдельно, где-то по благу доставала крышки с тонкими резиновыми ободками по внутренней кайме. Стеклянная тара кипятилась в тазу-на газу...

Огромными щипцами банку обхватывали за горло, вынимали из кипящей воды и ставили на расстеленные чистые полотенца. Мама — в фартуке, с волосами, убранными под косынку, — была очень уместна в этом производстве: будто, стерилизуя банки для консервации, применяла профессиональные навыки: наложить щипцы на головку ребёнка и вытащить его из обессиленной материнской утробы. Сеню сажали выковыривать из вишен косточки. Мама вручала ему шпильку, и налаженным движением мальчик ловко выуживал косточку, слегка надавливая на кругляш ягоды.

(Да, он с детства любил простую артельную работу, она освобождала мысль, запускала чудес-

ную шарманку его пылкой, папа говорил — *ма-ниакальной* фантазии. Странно, что в дальнейшей жизни он занимался самым, ну, самым неартельным делом!)

Затем из кладовки выплывал жутковатый механизм: машинка для закатывания овощей и фруктов. Эта штука (сбоку — ручка) насаживалась на банку, и ручку крутили. Три-четыре оборота... и горловина банки оказывалась в плену удавки!

*Лет сорок спустя Гуревич опознал, как родную, точно такую штуковину: в Кордове, в Музее инквизиции, в средневековой камере пыток.*

Словом, это была фабрика по закатке овощей и фруктов. Сезонное производство зимних запасов на одну маленькую семью: по сорок банок расставлялось на полках кладовки. Но глубокой осенью и зимой...

О, в холодные тёмные дни эти драгоценные слитки солнечного света являлись из кладовки и открывались с почтительной нежностью, источая благоухание садов далёкого юга. Из золотого сиропа вынимался персик или черешня, ломтик груши или айвы, сливы или яблока, даря простуженному горлу и вечно заложенному носу неописуемую сладость и аромат райских угодий.

\* \* \*

Дом стоял примечательно: во дворе кинотеатра «Молния» на Петроградской стороне. Квартира коммунальная, но малосемейная. Помимо Гуревича



24 чей в ней проживали Курицыны — дядя Паша, тётя Надя и сын их Юрка, по кличке Курицын Сын, ровесник младшего Гуревича. Третью комнату занимала милейшая и добрейшая Полина Витальевна, от которой, тем не менее, никакого продыху не было: во-первых, она вечно толклась на кухне, пекла свои пироги, во-вторых, по-соседски приглядывала за мальчишками, когда те возвращались из детского сада, а потом и из школы. Им обоим она была нужна, как собаке пятая нога: мальчишки дрались, мирились, бились об заклад, ругались и снова дрались... словом, отлично ладили!

Это Полина наябедничала маме, когда младший Гуревич, окончательно изведённый Курицыным Сыном, пустил тому в глаз струю через замочную скважину. И то было не нападением, а хитроумной защитой: Юрка весь день стрелял в него водой из какой-то мерзкой резиновой пищалки. Незаметно подкрадывался, окликал и, когда сосредоточенный на игре Сеня оглядывался, прыскал тому водой прямо в морду. В конце концов разъярённый и мокрый Сеня погнался за ним по коридору, чуть не сбив с ног Полину Витальевну, а Юрка заперся в их комнате и ни на какие уговоры и клятвы *пальцем не тронуть* дверь не открывал.

Тогда Сеня приволок из прихожей пачку старых газет, перевязанную бечёвкой, вскочил на неё и спустил штаны — плевать на Полину с её дурацкими пирогами! «Хорошо, — сказал Сеня, — положим, ты идиот и не веришь, что я — благо-

родный. Чёрт с тобой. Просто хотел тебе кое-что показать. Охренительное... Можешь сидеть там хоть тыщу лет, хоть до Нового года, глянь только в скважину».

И Юрка купился, как курицын сын! Как только он запыхтел за дверью, прилаживая глаз к скважине, Сеня тоже прилажился... и врезал ему острой струёй прямо в глаз!

Это был второй случай, когда мама отлупила Сенью скакалкой. Между прочим, чувствительно: скакалка-то резиновая. Сын орал для проформы, папа же кричал по-настоящему — от жалости, спасти пытался. У папы любимое слово было: «образумься!».

Если кто думает, что скакалка Сенина, так это чушь собачья: что он, девчонка — прыгать через верёвочку? Она была маминым спортивным инвентарём с тех пор ещё, как мама пыталась сбросить пару кило и по утрам в воскресенье усердно и тяжко себя вздымала: сначала на одной ноге, потом на другой, затем обеими. Но однажды кто-то из нижних соседей явился спросить, что происходит и почему цирковой бегемот гастролирует именно по воскресеньям, когда люди хотят всего лишь выспаться, к чёртовой матери? И мама угомонилась...

\* \* \*

Комната у Гуревичей была необъятная, сорокаметровая, с дворцовой высотой потолков — метров пять. Восхищение гостей милостиво прини-

26 мала голландская изразцовая печь с медной дверцей. Белая королева, поверху она была украшена зелёной лепной короной под самый потолок.

Ещё им в наследство достался от предыдущих неизвестных жизней, возможно, и с царских времён, могучий дубовый стол на резных слоновьих ногах — абсолютно неподъёмный. Потому его здесь и оставили, говорила мама, силёнок не хватило вынести.

Стол драгоценный был — для Сени. Если снизу подлезть, на исподе столешницы обнаруживались длинные потайные ходы и сложные извилины, похожие на ласточкино гнездо. В них Сеня много чего хранил: солдатиков, три пустые бутылочки из-под коллекционного коньяка; наворованные впрок конфеты «Золотой ключик» и срезанную с шубы Курицыной мамы большую зеркальную пуговицу, в которую можно было смотреться, как в кривое зеркало в парке аттракционов, строя рожи и шёпотом дразня того, кто оттуда пялится, «кромешным идиотом». Сокровищницей тайн, вот чем для мальчика был обеденный стол с потайной изнанки.

Время было скромное, рукодельное, игрушки берегли годами, латали-подновляли и починывали, как дряхлых родственников. Под диваном хранился картонный ящик от давней посылки, и в нём отдыхали, ожидая выхода к игре, всего пять-семь персонажей. И все были милыми и родными, все — с огромным опытом в пар-

тизанских войнах и диверсиях, в предательстве и шпионаже, в диких набегах, в сумасошлатой любви, с последующими грандиозными свадьбами и похоронами. У всех Сениных игрушек была жестокая судьба на разрыв сердца, с каскадом невероятных трагедий!

Грустный Медведь переходил от одного поколения родственников и знакомых к другому, за ним тянулся шлейф имён, как за немецким аристократом, но каждый следующий ребёнок придумывал ему какое-то своё имя, так что со временем, пообтрепавшись, мишка просто стал Грустным Медведем.

Он пережил падения и взлёты, голод, блокаду, эвакуацию в Самарканд с маминной двоюродной сестрой; возвращение уже с новым хозяином, её младшим братом, — так как сестра подросла, в десятом классе влюбилась в комсорга школы и сделала тайный аборт, который необъяснимым образом лишил её права на плюшевого друга. Грустный Медведь попадал в различные передряги, гордился рваной (и зашитой) раной в бок; Сеня и сам иногда его оперировал под наркозом, тщательно зашивая хирургический разрез.

Все его проплешины и боевые ранения были скрыты под белой вязаной безрукавкой с двумя зелёными пуговичками на плече. И об этой безрукавке можно писать роман, не сходя с этого места!

Пятьдесят лет назад она была связана папиной бабушкой для новорождённого дяди Пети,

28 папиного старшего брата, а после Пети пошла по дальнейшим поколениям детей. Её тронула моль, её многожды штопали, много стирали. Последним из теплокровных её носил до полугода сам младший Гуревич, и уж только потом её передали в вечное пользование Грустному Медведю.

Другими обитателями картонного ящика были уважаемые ветераны, задиры и дуэлянты: два Петрушки из аэропортовского сувенирного киоска, одетые в косоворотки и жёлтые атласные штаны, обутые в настоящие крошечные лапти. Сеня сам их обшивал, облекая матерчатые туловища в потребные действу одежды. Это был достойный гардероб: красная ряса кардинала Ришелье, мушкетёрский плащ с большим крестом на спине. Перед смертельным поединком в правую руку каждого вставлялась негодная уже медицинская игла — и это были шпаги:

«Сударь, я отправлю вас ко всем чертям прямо в ад!!!».

«Возьмите свои слова обратно, сударь, не то я вобью их вам прямо в глотку!!!».

В дуэльном угаре мушкетеры-Петрушки втыкали шпаги в матерчатые тела друг друга, умирая страшной смертью! Затем воскресали...

Был ещё взвод оловянных солдатиков штамповки такого качества, что лица у них ничем не отличались от затылков. В сущности, это были грубые куски металла. Но при наличии фантазии тут открывалось поле поистине бесконечных сюжетных возможностей.

Папа говорил, что у Сени маниакальное воображение; что он не чувствует грани между игрой и реальностью; что, в сущности, он постоянно прописан в своих фантазиях, не желая возвращаться назад, в *просто жизнь*. И потому ему будет трудно существовать *в социуме*. Папа говорил это не Сене, а маме, когда думал, что сын уже спит. Но Сеня не спал. Он играл сам с собой в войну злых и добрых пиратов. Надо было лежать вмертвецкую, чтобы обмануть злых. Эх, жалко: если бы удалось протащить в постель столовый нож, то ночью можно было бы заколоть маму или папу, злых пиратов. Что такое *социум*? Где это? Если там такая же деревянная уборная с вонючей дырой, как в Вырице, даром ему этот социум не нужен!

«Ребёнок как ребёнок, — отозвалась мама раздражённым шёпотом. — Я тоже бог знает что выдумывала в детстве!»

\* \* \*

И вот как-то Сеня играл себе и играл. У него был чемпионат мира по бегу на четвереньках вокруг стола. Паркетный старинный пол совсем рассохся, кое-где из него даже щепки торчали, так что Сеня предусмотрительно привязал к обеим коленкам думки с дивана. В забеге участвовала прорва команд со всех концов земного шара. За Чехию на диване сидел Медведь, за Англию под диваном валялся Петрушка-Ришелье... Сеня бегал за всех, замеряя результат по секундной

30 стрелке синего будильника. Когда бежал за Америку, слегка замедлялся. Зато Советский Союз побеждал во всех видах забега!

В разгар игры из своей психбольницы вернулся папа.

Папа высоким был, стройным, в серой фетровой шляпе, в длинном сером пальто. На нём вся одежда сидела, как на киноартисте Баталове. Бывают такие люди...

*К сожалению, младшему Гуревичу это не удалось. Любая новая и дорогая вещь сидела на нём, по уверению его жены, как на корове седло, и вечно он выглядел, говорила она, как «совхозный бабай».*

— Привет, сынок! — сказал папа.

Нет, тут надо вот что пояснить.

Папа был мягким и участливым человеком, он всем старался помочь. Он стремился помочь даже тогда, когда ничем помочь не мог, да и никто от него этого не требовал. Всегда шёл провожать гостей до остановки трамвая, выбегая из дома в чём был: в линялых трениках, замызганном свитере. И, сажая гостей на трамвай, заботливо спрашивал: «Три копейки есть? А у тебя есть три копейки?». Сеня, уже подростком, как-то спросил: «Пап, зачем ты выясняешь, есть ли у человека три копейки, если вышел в тряпье без карманов, и у тебя самого ни копейки, и ты вообще похож на бомжа?» «Я не могу не спросить», — ответил папа. «А если кто-то скажет, что денег нет? Что ты сделаешь?» «Не знаю... — папа пожал плечами. — Но не спросить не могу».

Он всегда пытался занять сына *интеллектуально*, заинтересовать чем-то прекрасным, увлечь. Бывало, сильно мешал... Когда видел, что сын чем-то занят, а Сеня всегда был страшно занят, он пытался включиться в игру на равных, даже когда это выглядело ужасно глупо, даже когда Се-не хотелось, чтобы Пушкин уже отдохнул.

И вот папа явился из своей психушки посреди игры, посреди дистанции, которую блистательно одолевал на карачках финский спортсмен Матти Хейкинен.

— Ты как, сынок? — спросил папа. — Что за игра?

Сеня доложил, что в данный момент у него чемпионат мира по бегу вокруг стола.

— Что за фигня, — хмыкнул папа. — Ерунда какая-то для младенцев.

— Младенцев? — возмутился Сеня. — Знаешь, как трудно бежать на четвереньках! Это новый вид спорта: попробуй!

Папа, не снимая шляпы и пальто, опустился на корточки и приказал:

— Засекай время!

...и оголтело ринулся прыгать вокруг стола, мгновенно вогнав себе в колено огромную занозину от старого разошедшегося паркета. Плоская широкая щепка с пиковым остриём — она, как нож, вонзилась ему глубоко в сустав.

Папа с воем повалился на спину, Сеня хладнокровно проорал:



32 — Финский спортсмен сошёл с дистанции!

И в этот момент с работы пришла мама.

Ну, дальше не интересно, дальше происходила *просто жизнь*: приехала скорая, папу забрали в больницу, кромсали там его колено под местным наркозом, вынимали занозу, накладывали швы...

И три недели потом он скакал на костыле и шутил, что это новый такой вид спорта. Иногда говорил сыну: «*Он видел стремительный бег колесниц...* Засакай время до туалета и обратно!» — взмахивал костылём и вопил: «На старт, внимание... арш!!!»

Мама же говорила:

— Почему у всех дома люди как люди, а у меня два идиота?!

\* \* \*

Комната была многовариантным местом обитания. С утра — гостиной и столовой, ночью — спальней.

Родители спали на раскладном универсальном ложе. Днём это был просто зелёный диван, обивка в мелкий рубчик; на ночь диван раскладывался на две разновеликие части. Мама — она была полной женщиной — вольготно раскидывалась на широком сиденье дивана, худой папа спал на боку на отложенной спинке, в узком пространстве между стеной и супругой. Мама во сне всегда его теснила, и утром, собираясь в детский сад или в школу,

Сеня наблюдал, как папа, тошей шпротой притиснутый к стене, досыпает «ещё крошечку».

Сеня же спал на раскладном кресле, которое, дабы не свалилась подушка, упирали изголовьем в изразцовую печь.

Беспокойное было местечко: по ночам в печи шла оживлённая жизнь, звучали голоса, обрывки песен; иногда кто-то вскрикивал — то угрожая, то обольстительно урча... Сене часто снились сны, в которых разыгрывались сцены между таинственными печными обитателями.

Однажды за ужином он обронил, что в печке по ночам разговаривают какие-то дяди и тётки. Кричат и сильно ссорятся, а иногда хохочут или хором поют.

— Поздравляю! — выдохнула мама, глядя мимо Сени на папину макушку, склонившуюся к чашке чая. — Приехали: у ребёнка психоз. Тут у нас, кажется, был где-то специалист? Давай-ка, звони Загрбенному. Пусть пропишет что-нибудь успокоительное.

*Вполне возможно, что детский психиатр Николай Павыч Загрбенный прописал бы Сене нечто успокоительное, и тогда, спустя лет пятьдесят, Гуревич навсегда был бы прописан по успокоительному ведомству и вязал бы салфетки или клеил корбочки. Уж такими были этапы — на большом пути из варяг в греки — в отечественной психиатрии.*

*Но за два дня до назначенного визита произошло вот что.*

34        В гости к ним приехала семейная пара дальних родственников из Казимировки. Гостей, как полагается, на ночь обустроили со всем хлопотливым радушием, постелив им на родительском диване. Папа с Сеней легли на полу, а вот мама разместилась на том самом злосчастном кресле, изголовье которого упиралось в печную заслонку. И среди ночи раздался вопль: мама вскочила, перебудив не только гостей, но и всех соседей. Она кричала, что с ней кто-то разговаривает из печи, издевается, угрожает и хихикает, что она явственно слышит мерзкое вытьё, и бабий визг, и какой-то безумный хор алкашей с неразборчивыми матерными куплетами.

Вызванный наутро рукастый и головастый, хотя и не всегда трезвый, мастер Гена обследовал чёртово логово и сказал: печь как печь, умели кода-то работать на совесть. Просто, давно, может, ещё при царе, кто-то забыл закрыть вьюшку, *положить в дымоходе блинок на бортик*, вот ветра и врываются из воздушных просторов, распевая свои разухабистые песни.

Так Сеня был реабилитирован и спасён от медикаментозного лечения по советскому психиатрическому протоколу.

*Кстати, именно эти пережитые в детстве хриплые свары бородатых-мордатых церберов, что срывались с цепи чуть ли не каждую ночь, визжа и гогоча ему прямо в уши, много лет спустя помогли пережить тоску остервенелых зимних ве-*

*тров пустыни Негев; а там есть где разгуляться ветрам.* 35

*Жаль, мамы тогда уже не было. Она бы впечатлилась...*

\* \* \*

Гораздо позже, будучи отцом семейства и отирая с женой друг о друга бока и задницы в кухоньке съёмной квартиры, Гуревич вспоминал жильё своего детства, пытаясь понять: почему из такого просторного помещения родители не сделали удобной полноценной квартиры? Ведь можно было выгородить и нормальную спальню, и уютную детскую. А деревянные антресоли — при этакой-то высоте потолка! Он видел такие в квартирах у кое-кого из сокурсников: второй полуэтаж, а там: стеллажи книг, письменный стол с настольной лампой, глубокое кресло. Снизу это выглядело стильно, театрально, неуловимо *иностранно...*

Но однажды догадался: они с родителями так редко виделись «вне расписания», что совсем не испытывали потребности разбежаться по своим закутам.

Воскресных дней он ожидал со свойственной ему тревожностью. Целую неделю готовился, мысленно себя приближал: вот уже понедельник, а понедельник — это почти среда; среда же — это такая карусель: сядешь — крутись, и когда-нибудь круг закончится. За средой вынырнул чет-

36 верг, лёгкий день, быстрый день, он уже, считай, катится в пятницу. А пятница — надёжный трамплин в субботу-воскресенье. Пятницу, в сущности, можно вообще не брать в расчёт.

«Увидев наконец родимую обитель, Главой поник и зарыдал...» — неизменно повторял папа, открывая дверь сыну, вернувшемуся из школы. Да нет, наоборот, — хотелось крикнуть: увидев наконец родимую обитель, малец от счастья зарыдал! (Что касалось рифмовки, за Сеней ни одной реплики не ржавело. Тем более в пятницу!)

Сеня дорожил каждой минутой, которую проводил вместе с обоими родителями. Необъятное воскресное утро — бескрайняя степь разреженного времени на вершине недели, длинный выдох после спрессованных будней. Долгий ленивый завтрак, насмешливые перепалки, словесные стычки, взрывы смеха, шорох газетных страниц. Какой-то дурацкий концерт по телевизору — *поговори со мною, мама*; сладкие, вдогонку сну зевачки. Утро тянется, тянется, тянется...

Всю жизнь он помнил одно воскресное ноябрьское утро, не слишком примечательное. Но избирательность памяти, но странная тяга к застывшим картинкам, застрявшим в пазухах детских воспоминаний...

В двух высоких окнах комнаты кипела белая кутерьма: там сшибались, сбивались в жирные охапки, ломились в дрожащее стекло порывы метели, — казалось, стекла сопротивляются из по-

следних сил. Зато в доме было тепло, и, кроме пятирожковой люстры, горела его любимая лампа под зелёным стеклянным колпаком.

Её включали нечасто и ненадолго: считалось, что зелёное стекло слишком перегревается. У лампы было имя, то ли японское, то ли цирковое: Ардекó; лампа в семье почему-то пользовалась почётом: «Включи Ардекó, только осторожней с плафоном, он родной!». Воскресные завтраки были особенными ещё и потому, что их освещала *родная Ардекó*, смешивая свой простодушный весенний свет с тусклым и всегда завалящим светом в окнах — те выходили в обычный ленинградский двор-колодец.

Мама нажарила блинов, они лежали на блюде кружавистой горкой. В серёдку блина с ножа спускали кусочек сливочного масла, тот плюхался и растекался пенистой лужицей; сверху вываливали и расправляли по блину ложку по-видла или джема. Затем блин обстоятельно заворачивали конвертиком или подзорной трубой. Только к глазу не поднесёшь: всё потечёт по руке, однажды такое уж было... Про нож и вилку знаем, не маленькие, но интереснее же взять самому, наклониться, отклацать зубами и жамкать добычу, представляя, что ты крокодил. Или бенгальский тигр! *Прекрати строить жуткие рожки...*

Родители, как всегда, обсуждали что-то своё, врачебное, спорили, перебивали друг друга, пере-скакивали с темы на тему, вскрикивали, порой

38 хохотали. У мамы был бархатный раскатистый смех, папа крякал, как утка.

У мальчика всё внутри замирало от умиротворения: он блаженствовал, он тихо таял... Переводил взгляд с отца на мать... а снег за окном взрывался и крутился в заполошной свалке, будто свора белых болонок сбежала из цирка и носится, как угорелая. Если смежить веки, сияние Ардеко затопляло комнату волнистым струением речных водорослей. Не верилось, что впереди — зима...

Мама вышла и вернулась из кухни с голубым эмалированный чайником.

— Осторожно, чтобы я вас не обожгла! — объявила, и поставила чайник в центр стола на круглую чугунную подставку.

— *Приют пиров, ничем невозмутимых...* — проговорил папа голосом «на цыпочках». И потянулся за сахарницей.

Сеня сидел, смотрел в круто-голубую сферу чайника, наверняка ужасно горячего, и думал: а если б мама не предупредила и я бы коснулся его? Как можно проверить, не касаясь, — обжигает или нет? А, вот как: плюнуть! Если чайник горячий — плевок зашипит!

Сеня был изобретательным мальчиком. Папа говорил, что у него парадоксальный ход мыслей и интересные отношения с реальностью. Он стал собирать во рту всю наличную слюну для полноценного научного опыта.

Мама в эту минуту рассказывала, какой невероятный букет роз преподнёс ей вчера один счастливый немолодой папаша. (Прямо из Сочи, представляете?!) И как ей показалось некрасивым унести это богатство домой, и она разобрала букет и оделила всех женщин: медсестёр, нянечек, регистраторшу. Себе оставила только три, но прекрасные розы... А уходя, столкнулась в дверях со старенькой Марией Романовной, их многолетней уборщицей. Лет тридцать та махала у них шваброй, а сейчас уходила на пенсию по состоянию здоровья.

— И вот она стоит и смотрит на мои розы, будто Богородицу узрела! А они бордовые, атласные, на длиннющих стеблях! Ну... и я ей, конечно, сразу их вручила!

Обеими руками мама охватывала перед собой пузатую пустоту: «Во-от такой был огромный куст! Представить страшно, сколько денег отвалено. И совершенно живые — они дышали, дышали! А запах головокружительный, даже хлорку нашу перешибал!»

Сеня, наконец, подсобрал достаточно слюны, подался вперёд и харкнул на чайник роскошной шипучей блямбой. Чайник и правда оказался ужасно горячим. Опыт удался!

Мама запнулась и опустила руки... Она не смогла сразу найти в себе переключатель регистров на ругань, что с мамой крайне редко случалось. Сидела и молчала, уронив на колени рас-



40     крытые ладони, из которых, казалось, только что выпал тот огромный букет роз.

Папа прокашлялся и мягко проговорил:

— Сынок, ты к чему это... э-э...?

— Идиот, — сказала мама упавшим голосом. — Испортил такое утро!

### *Куриная тема рока*

Соседка их, милейшая старуха Полина Витальевна, обладала талантом находиться (и всем мешать, и всюду встречать!) сразу в нескольких местах квартиры. Она была помешана на пирогах. Каждый день разогревалась духовка, взбивались яйца, заводилось тесто, постным маслом протирался противень... и минут через сорок на свет выплывал из духовки очередной румяный красавец с брусникой, с яблоками, с грибами или с курятиной.

Курятина, ох...

Гуревич не прикасался к ней всю жизнь, аллергией отговаривался. Хотя дело-то совсем не в аллергии.

Дело было в том, что мама, при всей суровости характера, очень любила животных. В её детстве у них в Ростове жил поросёнок Филя — умный, уютный и, мама говорила, «очень деликатный!». Он жил прямо в доме, как домашний пёс, и семилетняя мама всюду бегала с ним, держа палец в колечке хвостика. Всю жизнь потом горева-

ла, что не разрешили забрать его в поезд, увозивший её и бабушку Розу в эвакуацию.

А однажды девочка-мама нашла в кустах ежа. Очень волновалась, чтобы тот не замёрз, долго подыскивала ему подходящий ночлег, пока не нашла очень удобную норку: дедов сапог. Молодой в то время дед Саня, авиационный инженер, работал в технической службе аэропорта. И именно той ночью что-то стряслось в ремонтных мастерских; за дедом выслали машину, велели прибыть через три минуты. Он вскочил, натянул брюки, прыгнул в сапоги...

Тут мама всегда обрывала рассказ. Говорила: «пусти воображение по следу». Но Сеня не желал пускать воображение по следу. Его раздражало, что мама не расписывает подробности; сам он всегда на подробностях застревал.

— А как дед кричал — словами или просто буквой «А-А-А-А!!!»? — приставал он к маме. — И кто вытаскивал ежовые иглы у него из ноги, ты или бабушка? А потом он хромал? А ёжик хромал?

В общем, сына с мамой объединяла любовь ко всем хвостатым-пернатым, ко всем душевным животным типа собак или кошек. Или обезьян. Или уж, на худой конец, пятнистого удава... Однако даже самого деликатного, самого чистенького поросёнка поселить у них было немислимо, так как домовый комитет запрещал держать в квартирах любых животных.

И потому Сеня с мамой купили на Птичьем рынке трёх цыплят.

42 Он всю жизнь помнил их имена: До-Ре-Ми, вот как их звали. Как он хлопотал над ними! Как звонко пропевал три этих слога над жёлтенькими пищалками-облачками на тонких ножках До! Ре! Ми!.. До-о-ре-е-м-и-и-и...

Мама кормила их творогом, двумя пальцами вытягивая и выкручивая белых червячков, и пискуны смешно вцеплялись в них клювиками и тянули каждый к себе. Сене казалось, он уже различает своих цыплят: у них были разные характеры. Самым бойким был Ми: вечно бегал вокруг братьев, вечно волновался, совсем как Сеня, — видимо, боялся куда-то не успеть. Мальчик выпускал их из коробки погулять, безропотно убирал за ними. *Мы же в ответственности за тех, кого мы ля-ля-ля и до-ре-ми?!*

Однажды эти дурачки угодили в миску с водой и вымокли. Гвалт устроили страшный! Беспокойный и заботливый Сеня придумал, как их высушить. Прижимая к груди коробку с тремя мокрыми комочками, примчался в кухню, включил духовку на слабое приятное тепло, запустил всю компанию внутрь и закрыл. По его расчётам, минут через десять До-Ре-Ми должны были выйти оттуда весёлыми и пушистыми.

Тут в коридоре затренькал телефон — это, конечно, был Тимка Акчурин. Он названивал, когда оставался дома один, и они с Сеней подолгу висели на телефоне, пока взрослые не спохватывались: ну сколько ж можно! Как обычно, они с Тимой заболтались, и времени прошло немало...

В общем, Сеня, прямо скажем, слегка подзабыл о цыплячьей сушилке. Вспомнил, когда услышал протяжный зов Полины Витальевны: «Сенюша! Сенюш, иди, пирожок дам!» — и почувствовал запах жареной курятины.

Он выронил трубку и заорал...

Хоронили убиенных всем двором. Сеня обернул салфеткой обгорелые тельца, уложил их, как в саркофаг, в свой деревянный школьный пенал, выбрал во дворе укромный угол за трансформаторной будкой и братскую могилу выкопал сам, большой салатной ложкой. До седьмого класса, до переезда семьи в другой район, возвращаясь из школы, мысленно вытягивался в почётном карауле и салютовал погибшим.

Может, папа и не зря называл его психику «пограничной»? Ведь это и вправду не совсем нормально, что из-за одного досадного случая в детстве человек на всю жизнь разлюбил жарко протопленные помещения, вроде бань или саун? Впрочем, в бани он и так не ходил, стеснялся. Но даже оказываясь в тесном и душном пространстве, вроде лифта, Гуревич начинал задыхаться; ему мерещился запах горелого мяса, на лбу выступал пот, ладони становились противно липкими... Короче, этажи он всю жизнь предпочитал одолевать как в школе — бегом.

*Между тем летом в Безр-Шеве случаются особо жаркие дни, когда буквально нечем дышать, и ты думаешь: да это настоящая чёртова духовка, уго-*

- 44 *раздило же выбрать климат! — и даже на работе растёгиваешь вторую, а то и третью пуговицу на рубашке.*

\* \* \*

Да нет, не единственный то был куриный случай! Была ещё жуткая двойная казнь на даче, в Вырице. Анна Каренина в перьях; куриная тема рока...

Из-за постоянных простуд и ангин на лето родители вывозили Сеню дышать и закаляться. Семья жила на две докторские зарплаты — в сущности, нищенские, — так что весь год копили на летнее оздоровление. На южные моря накопить не удалось ни разу, оставались либо ближняя, с *западным* налётом Прибалтика, либо дача. Лет пять подряд Гуревичи снимали дачу в деревне Вырица. Впрочем, и Вырица сама — богатое и популярное место дачной жизни, с солидными каменными домами, теплицами да баньками за высокими заборами (есть что беречь!) — тоже была им не по зубам.

Снимали в Посёлке, а это в самом конце ветки, ехать с Витебского.

С Витебского, самого прекрасного вокзала в мире, — нарядного, как филармония, как дворец, как музей, — поезда шли и в Павловск, и в Царское Село, в вагонах сидели вперемешку и интеллигентные дамы с орешками для павловских белок, и крепкий колхоз в трениках.

Добирались час с лишним, потому что ждали именно электрички до Посёлка: в Вырице железка раздваивалась, и короткий отросток вёл в нужную тьмутаракань.

У электричек нутро всяко-разное: чаще всего деревянные лавки из лакированной вагонки, реже — обитые дерматином мягкие сиденья. Эти очень быстро изрезали, вынимая зачем-то поролон, и тогда сидеть задницей на голой железяке было холодно и жёстко.

В вагонах всегда битком, всегда грязно, вонько (в тамбуре вечно кто-то нассал), к тому же утром в поезд подсаживаются работяги, а те завтракают пивом и курят не в тамбуре, а прямо в вагоне. На Сенино счастье, его начинало тошнить, и папа, выкрикивая: «Ребёнку плохо! Посадите ребёнка, пожалуйста!», проталкивал его поближе к скамейкам. И какая-нибудь сердобольная дама непременно усаживала тощего Сению к себе на крутые колени, где он покачивался, как меж верблюжьих горбов. Или какой-нибудь старичок уминался и предлагал местечко рядом.

У окна сидеть классно: в приспущенную раму бьёт сильный тяжёлый дух: запах шпал, обработанных креозотом, солярки, мазута, смешанный с запахами пролетающей природы. Предвкушение летней жизни! Так в музеях бывает:ходишь в вестибюль, слева — кассы, справа гардероб, но ввысь перед тобой вздымается головокружительная золочённая лепная-резная лестница, и ты знаешь, что там наверху — залы, люстры-фре-

46 ски-ковры-вазы-мушкетеры-ружья-картины, а также самое интересное: мраморные дядьки и тётки с сиськами-письками без трусов, в крайнем случае листик пристал. И все вокруг ходят и делают вид, будто это ничего, *красота тела*, так и надо... А если б в метро такую красоту тела увидели, листик такой на живом человеке — небось сразу в психушку звонили бы?

Сусанино, Красницы, Михайловка, Вырица... Потом проплывали: Первая платформа... Вторая платформа... Третья платформа... конца этому черепашьему ходу не предвиделось! Наконец, доползали: Посёлок.

Это было унылое захолустье. Не деревня, не садоводство — так, петухи да куры по дворам; деревянные домики в полтора этажа, с верандами и без.

По главной улице дважды в день тащился автобус. В местном сельмаге витали спёртые запахи бакалеи: пряники и крупа в бумажных мешках, пыльные железные банки с томатным соком, бочка с солёными огурцами, бочка с квашеной капустой. На длинной полке за кассой — водочка. Продащица Людмила высилась за обшарпанным прилавком. Её пшеничная, сложно устроенная хала на голове парила в тусклом воздухе магазина. Это была всем халам хала: покрытая блестящим лаком, глянцевая на вид, нарощенная из собственных, да выщипанных по знакомым и подругам, да прикупленных чужих волос. Сеня

слышал, как, взвешивая мятные пряники, Людмила рассказывала кому-то из дачниц: «Полжизни собирала! Говорю ей: «Соня, мне деньги твои не нужны. Плати косой — она же, глянь, в точечку как моя родная!»».

Впрочем, временами лавка была закрыта на огромный висячий замок: обладательница роскошной халы уходила в запой.

*(Она уходила в забой! Воображению младшего Гуревича многого и не требовалось. Он любил эту песню, такую... раздольную: «Де-е-вушки приго-ожие Тихой пе-есней встре-етили. И в забой напра-авился Па-рень молодой...». Папа говорил про песню: «Ну, это, скажем прямо, не Пушкин...». Ну и что? А Се-не нравилось. И вот она, Людмила: в шахтёрской каске с налобным фонарём, в брезентовой куртке, брезентовых штанах... Она машет рукой на прощание и уходит в забой! Кстати, налезет ли шахтёрская каска на её хитро выплетенную халу?)*

...Гуревич даже спустя полжизни любил повторять, что «в тех дремучих дачных дебрях был прекрасный микроклимат, что бы это ни значило».

Густая сосновая природа струилась вдоль ледяной речки Оредеж, воспетой и литературно, и художественно. Речка не глубокой была, но с гладкими валунами и острыми камнями, а поток бурлящий: из воды купальщички часто выползали с побитыми локтями и коленками. Можно было подняться вверх по течению аж



48 до плотины — там был нормальный песчаный спуск, а выше плотины — отличный пляж, но веселей же нестись в пенном потоке, который сам тебя и принесёт домой. К воде спускались, цепляясь за кусты и деревья; на песчаном пятчке, называемом «пляжем», стояла деревянная купальня, почерневшая от времени и воды. Зато берег напротив был замечательно красив: высокая щербатая стена, не гранитная, а песчаная, удивительного для здешних широт красно-бурого цвета. По верхам этого каньона всеми оттенками, от щавелевого до оливкового, курчавилась зелень.

Вырица вообще окружена сосновыми лесами — а сосны корабельные, с могучими прямыми стволами, с ветвями, высоко поднятыми над землёй, потому и светло в этих лесах. По берегам Оредежа растут «танцующие сосны»: у них корни из земли вылезли — суставчатые, с узловатыми коленями. Посмотришь — да это сказочные ноги! В вечерних сумерках, да под музыку ветра в кронах так и чудится: вытянут «танцующие сосны» из земли свои корненоги и пустятся в медленный вальс по-над берегом — раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три...

...Всем знакомым и родственникам Гуревичи говорили, что снимают в Вырице дачу. Однако снять дачу целиком, с огородом, садом и всем, что прилагается к настоящему дому, им тоже было не по карману. Снимали застеклённую веран-

ду. Папа называл её приютом убогого чухонца, но тут же бодро восклицал: «А что ещё требуется для полноценного отдыха!» Со двора вбегаешь на деревянное крыльцо, в открытую двустворчатую дверь, оттуда — налево, за тюлевую занавеску. Там закуток, метров в шесть: тесно приткнуты две железные койки, столик, застеленный белёсой клеёнкой, два табурета. С потолка свисают клейкие гирлянды, облепленные мухами, и это дело житейское. Вечерами в воздухе стоял неумолчный комариный зуд. Комары здесь были особенные, не чета городским: медленные, ленивые, но очень дружные, летали эскадрильями.

Ради справедливости надо отметить *цветочный фактор*: огород у хозяев был небольшой, зато весь двор заполонён цветами. И не только «как у всех» — высоченные золотые шары и люпин, — но и примула, и мускарики, и маргаритки. А к осени раскрывались царственные чалмы георгинов, поднимались разноцветные гладиолусы, целая полоса земли вдоль забора была отдана цветам со странным названием «сердце холостяка»; эти оранжевые коробочки действительно напоминали сердце.

В конце мая зацветали яблони...

У самой веранды росла матёрая корявая яблоня, похожая на растопыренную пятерню великана — хозяйка называла её «старой каракатицей», но урожай снимала отменный: яблоки были небольшие, блекло-желтые, со слабым румянцем, но очень душистые.

50 В мае же отдельные смельчаки в чёрных трусах приступали к ледяному Оредежу. Пацаны ныряли вниз головой, показывая удаль молодецкую, и уж кто-то непременно врезался башкой в корягу... Тогда над речкой взвивался рёв и визг, и оглушительный ругачий ор чьей-нибудь мамани. В солнечный день песчаные отмели обживали целые семейства. На байковых одеялах раскладывались дачные натюрморты: огурцы, крутые яйца, ломти чёрного хлеба и соль в фунтиках, скрученных из газетной четвертьстраницы...

Народ здесь не церемонный, голосом берёт, так что слышно издалека; над рекой далеко разносится: «Бездельничать некогда, работы полно: клубнику прополоть, усы отрезать, банки закатать, у нас и помидоры свои, и огурцы на всю родню солим, заготовок полный гараж, еле-еле Колина «копейка» вползает...»

Вечерами по дворам и верандам гоняли чай; неугомонные пацаны стрижами носились на раздолбаных великах. Они у всех одинаковые: «Школьник», рамы голубые или зелёные, сплошь облупленные... Коля, Ваня, Федя или ещё какой-нибудь гордый хозяин «копейки», «жигуля» первой модели, отдыхает после работы в майке и трениках, домашним огурцом хрустит, бьёт с размаху комарьё.

Комары, тучи комаров... В Вырице теплее, чем в городе. С мая по август Сенина физиономия, не говоря уже о руках-ногах и даже о заднице, претерпевала волдыри и расчёсы разной степени озверелости и кровавого беспредела.

...Чтобы ребёнок «дышал» все три месяца без перерыва, родители брали отпуска по очереди. Один неотлучно сидел с Сеней на даче, другой навещал их раз в неделю и — что гораздо важнее — привозил огромные сумки с продуктами.

Тут необходимо ещё одно литературное отступление — папа стоил многих отступлений.

Он был из тех интеллигентов, которые ничего не умеют делать руками. Если брался забить гвоздь, то забивал в стену собственный палец. Покупки тоже делать не умел. Однажды мама послала его за кочаном капусты на голубцы, он принёс три кочана, каждый размером с яблоко. Взрывная и безжалостная мама немедленно довела до его сведения, что только отпетый идиот мог вообразить голубцы из этих эмбрионов. Папа вспылил и запустил кочаном в форточку.

Окна у них когда-то были заклеены на зиму и с тех пор уже не расклеены никогда. Между рамами валялись дохлые мухи и осы, упавшие внутрь карандаши, при помощи которых открывали и закрывали форточку, три незадачливых бумажных голубя, огрызок груши, деталь от конструктора. Так что Сеня с мамой внимательно следили за полётом: запущенный папой кочан мог и не долететь, мог свалиться между рамами и лежать там восемь лет. Но то был редчайший случай, когда папа забросил мяч в корзину, ловко разбив стекло форточки.

52        Словом, папа витал над бытом, стараясь не заземляться, будто опасался, что ноги увязнут в этом болоте. Зато он много гулял с сыном по поэтичным окрестностям Вырицы, рассказывая про графа Сиверса, которому поместье пожаловала государыня Екатерина Великая, и про то, с каким завидным усердием граф разводил тут картофель. Что касается нашего Алексан Сергеича, добавлял папа, так он целых тринадцать раз проезжал через эти места на Святые Горы; последний раз — в похоронных дрогах, на пути к бессмертию.

Обходили они и окрестные старинные кладбища при запущенных храмах, и, глядя на безносую плакучую деву или сильно оббитого ангелочка, папа произносил, печально вздымая густые актёрские брови: «Смерть велика и непознаваема...»

\* \* \*

Второе Куриное Пришествие стряслось в дачной жизни юного Гуревича, когда они с папой куковали в папину очередь. Посреди недели у них вдруг закончилась еда. Единственная продуктовая лавка была целый месяц закрыта на лопату, и хозяйка их дачи говорила, что ничего не попишешь, понимать надо: *Людмила ушла в забой*.

— Сенечка, нам нечего есть! — озабоченно доложил папа. В отличие от мамы, рубившей фразы тоном красного командарма, папа любил поговорить с сыном душевно. Считал, что мягкие интонации голоса лучше доходят до сознания ребён-

ка. Тем же манером он разговаривал с пациентами. — Совершенно нечего есть, сынок. Боюсь, помрём с голодухи.

Однако всё же догадался пойти со своей бедой к Татьяне Кузьминичне, хозяйке.

Та папу очень уважала — он лечил и саму Татьяну Кузьминичну, и сына её, дебила Костю, и её одноногого отца, ветерана Гражданской войны деда Никона, который пропил костыль, но зато научился передвигаться по двору на одной ноге: скакал, хватаясь за ствол яблони, за перила веранды, за стены, кусты, опоры голубятни... Целыми днями стоял на одной ноге, привалаясь к воротам, и задумчиво курил, глядя на дорогу. Был тогда похож на большого оловянного солдата из сказки Андерсена.

— Господь с вами, Марк Самуилыч, — легко сказала хозяйка. — Вон курятник, колода, топор. Хватайте любую куру, рубите голову, варите ребёнку суп.

Папа, который в жизни своей не убил комара, а в хирургию (семейную вотчину) не пошёл именно потому, что не мог видеть малейший порез на живом существе, — папа позеленел от взваленного на него душегубства. Но на руках у него был ребёнок, и ребёнка надо было кормить; а обратиться за помощью к деду Никону или к тому же Косте-дебилу он считал недостойным мужчины.

Он нырнул в курятник и вытащил... точнее, пригласил из курятника курицу, водрузил её на колоду и схватился за топор... С лицом «краше

54 в гроб кладут» минут пять папа тюкал по бедной курице, будто примеривался для решительного замаха. Та рвалась и кудахтала, истекая кровью. За окном веранды стоял и наблюдал за поединком похолодевший Сеня, а от ворот, привалясь к столбу и сплёвывая на землю, с большим интересом разглядывал это позорное побоище дед Никон.

— Плядь ты бессильная, Самуилыч... — добродушно заметил он.

От всего этого папа разъярился по-настоящему (о, благородная ярость интеллигента, она может горы свернуть!), размахнулся и с плеча рубанул топором по курице. Голова её отскочила, как теннисный мяч от ракетки, а сама курица кувыркнулась с чурбака и ринулась — безголовая — через ворота на улицу... где немедленно попала под автобус, тот самый, что проезжал мимо их дачи дважды в день.

Вторая казнь мученицы была уже вовсе бесполезной и какой-то... запредельной: в таком изувеченном виде она никому пригодиться не могла. Её даже похоронить по-человечески было невозможно. И сердобольная Татьяна Кузьминична, махнув на папу рукой, сама взялась за дело.

Сеня же окоченел от ужаса...

Он стоял за окном веранды, потрясённо глядя сквозь ворота на дорогу. Мысли его вскипали и крутились, как сухие листья в ветреный день: можно ли назвать *обезумевшей* безголовую курицу? И каким образом она так решительно броси-

лась точно в ворота — может ли чувство ориентации находиться не в куриной голове, а где-то в другом месте организма? Как она ринулась навстречу второй и окончательной смерти, будучи, строго говоря, и так уже мёртвой! И кружили, кружили перед глазами безносые каменные девы и траченные ветрами-снегами-дождями ангелочки, и завывали печальные слова на забытых всеми памятниках, *незабвенно-безутешные... скорбящие-осиротелые...*

Месяца два его мучили ночные кошмары, в которых огромная неотмщенная курица размахивала топором над папой, распластанным на колоде. Всё оздоровление Сени тем летом пошло насмарку, как и вообще его пожизненные вкусовые пристрастия.

*Он так и не смог проглотить ни единой ложки супа, да и впоследствии, с удовольствием смакуя антрекоты и бифштексы и прочие части тел разных животных, так и не смог преодолеть в себе отвращение к куриному мясу. Курица казалась ему существом хтонического мира: её беззвучный вопль, её тайный бегущий зов достигал его через годы с потрясающей регулярностью. Можете считать, как вам угодно: религиозное или антирелигиозное это чувство. Но когда его жена, столь похожая на маму, называла его куринофобию «идиотством» и в свидетели призывала тени всех съеденных им коров, телят, баранов, кроликов и оленей, Гуревич резонно отвечал, что «смерть велика и непознавае-*



- 56 *ма», но он ни разу, даже в страшном сне, не видел, чтоб безголовый баран или бык гонялись за автобусом. После чего отпиливал кусочек бифштекса, мазал его горчицей или хреном и кротко отправлял себе в рот.*

### **Оздоровительный месяц в Друскениках**

И всё же деревня Вырица в зудящем комарином облаке, печальные кладбища с отбитыми носами дев и крылышками херувимов, самоубийство безголовой курицы и вечно пьяный дед Никон были далеко не самым тягостным воспоминанием его детства.

С пятого класса Гуревича стали вывозить в Литву, в Друскеники; этот отдых считался рангом повыше. Кроме того, маму привлекал дешёвый и качественный прибалтийский трикотаж: свитерки-майки-панталоны-лифчики. Она закупалась на целый год, с учётом подарков на все грядущие даты для всех близких и родственных дам, подружек, сослуживиц и даже любимых пациенток.

В отделе трикотажа местного универмага работала продавщица Тося, замужним ветром занесённая из *щикарного* Ростова в эту дохлую Литву. Была она разбитной, сердечной и памятной бабой, всех своих постоянных клиенток помнила в лицо и даже по имени, хотя возникали те только на летние месяцы. И всегда-то у неё припрятан

был «для своих» особенный товар, и всегда она с беззаботным запевом: «Та шо той жжызни!» «Дама! —воскликнула, — берите вот ещё панталончики нежно-салатовые, это ж щасте! Берите, пока я добрая на трикотаж. Не жмитесь, шо той жжызни!»

В этом провинциальном городке на берегу реки Неман Сеня с мамой снимали комнату у местных литовцев, вежливых и отстранённых людей, которые приезжих не любили и не скрывали этого. Они не любили русских и не любили евреев, а Сеня с мамой попадали сразу в обе эти категории.

*Почему надо было непременно уезжать на лето из родного города, лучшего города на свете, с его прекрасными парками, могучей рекой, катерками и лодками на каналах, с его знаменитыми музеями и морем-рукой-подать, — Сеня тогда не понимал. Понял значительно позже, когда вкалывал во все лопатки, набирая дополнительные ночные дежурства в «бедуинском секторе», чтобы только вывезти сыновей из летней Беэр-Шевы в какой-нибудь кибуц на севере, где комната с четырьмя койками стоила не меньше, чем дорогой отель на побережье Португалии. Зачем?! И можно ли сменить климат в стране размером с табуретку?*

*Видимо, у родителей внутри находится тот же навигационный инстинкт, какой заставляет птиц лететь на юг, потом возвращаться на север... Тот же инстинкт, который заставляет нас сначала высидивать яйца, потом выкармливать птен-*

58 *цов из собственного клюва, потом кричать: «Что здесь сложного: три прибавить два?! Это может сосчитать любой кретин!» — и лететь в самолёте со своими птенцами в неизвестную страну-окончательно-навсегда, с разрывающимся сердцем и навеки застрявшим в диафрагме немым воплем: «Что я делаю?!»*

\* \* \*

Оздоровительный месяц в Друскениках... Он длился как год. Сеня дышал. Сеня гулял. Его закаливали...

Неман, как известно, быстрая, глубокая и холодная река. Мама сама в воду никогда не лезла — как можно в такую холодрыгу! Но, дождь не дождь, мама брала зонтик, выводила Сеню на берег, приказывала раздеться и «окупнуться». Ещё раз! Ещё! *Последний раз, я сказала, попробуй только выскочить, я тебя немедленно прибую зонтиком!!!*

Приседая в мутной ледяной воде, Сеня издавал даже не вопли, а сдавленный визг. Затем мама выволакивала сына на берег и лупцевала свёрнутым в жгут полотенцем: разгоняла кровь. *Очень полезная процедура, да, можешь вопить, сколько влезет, тебя никто не спасёт, дохлая ты мышь!*

В наши дни маму безусловно посадили бы за истязания ребёнка.

Дни в трикотажном раю тянулись медленно и скучно — для мальчика. Мама же немедленно обзаводилась группой фанатов. Женщина яркая,

с живыми чёрными глазами, с заразительным смехом, с перчиком в характере — мама знала уйму анекдотов, в любой компании, на улице или на пляже была видна издалека и, по словам папы, *влекла к себе неотвратно*. Во всяком случае, отпускные шахтёры слетались на маму, как осы на варенье.

Кстати, именно с осой была связана неприятнейшая история.

Обедали мама с сыном в «молочных кафе». С помощью ножа и вилки надо было умудриться снять целлофановую обёртку с «молочных» сосисок так, чтобы сосиска не улетела куда-то на чужой стол. Самым противным в этих кафе было то, что стаканы с киселём стояли на террасе на открытых подносах и над ними кружили, присаживаясь и подрагивая крупом, адские осы. Как-то раз Сеня с мамой заняли столик, расположенный слишком близко к кисельным берегам, и — неизвестно, как ей это удалось, — одна безмозглая оса угодила-таки мальчику за ворот, под свитер. Сеня застыл с выпученными глазами, с сосиской во рту: он чувствовал, как по спине омерзительно медленно ползёт ядовитая тварь...

За столом с ними сидел один из приставучих шахтёров, *дядька-мамин-ухажёр*, так про себя называл Сеня это стадо носорогов. И пока встревоженная мама пыталась вызнать у Сени — на что он вылупился, как идиот? — этот самый дядька сразу всё понял. И ладонью-лопатой со всей си-

60      лы хрястнул мальчика по спине. Осу он, конечно, убил на месте: Сенина спина оказалась для неё плохой эшафота. Но сосиска, вылетев изо рта и пролетев приличное расстояние, плюхнулась в чей-то стакан, так что их с мамой заставили платить за испорченный кисель.

— Чем это он испорчен?! — зычно кричал Сенин спаситель. — Насрал он туда, что ли?

И пока разгорался скандал, а Сеня пламенел от внимания общественности, все посетители кафе разглядывали его с весёлым интересом; эта свара была куда увлекательней органного концерта в местном костёле, от которого мухи дохли.

Когда наконец отмотались от шахтёра, мама зашагала по цветочному променаду, отмахивая рукой, сжатой в кулак, строевой офицерский шаг и громко сокрушаясь, что всё, буквально всё, что случается с её идиотом-сыном, это какой-то «цирк ужасов».

Сеня прискоком торопился за ней, слегка отставая, вроде как он посторонний: не позорить маму и не позориться самому.

На другой день они уезжали домой, как обычно, опаздывая на автобусную станцию: мама всю жизнь всюду опаздывала. Она просыпалась за полчаса до начала работы, вечно мчалась, вечно влетала в двери — автобуса, поезда, своей поликлиники — в самую последнюю секунду.

На полу лежали два раскрытых чемодана, на которые давно следовало навалиться, сесть на

них, закрыть и запереть их со всем трикотажным цветным нутром... Но мама всё ещё красила ногти и ходила по комнате с растопыренными пальцами.

— Ацетон кончился! — сказала она. — Возьми-ка, тряхни пузырёк с лаком.

Сеня принялся трясти алый квадратный пузырёк с таким видом, будто прислушивался — не прозвенит ли внутри колокольчик. И тот прозвенел: от яростной тряски пузырёк в его руках треснул, забрызгав всё лицо. Сеня вскрикнул, зажмурился, стал шарить руками в воздухе.

— Идиот!!! — крикнула мама. — Немедленно беги на улицу, поверни налево, через два дома — парикмахерская! У них должен быть ацетон, они смоят лак с твоей идиотской морды!

И Сеня, вытянув руки и хватаясь за воздух, побежал в парикмахерскую, помня, что скоро с автовокзала должен уходить их автобус.

В эти минуты какой-то местный житель парковал у тротуара машину. Он открыл дверцу, собираясь выйти наружу... Зажмуренный Сеня, с вытянутыми руками, с разбегу врезался в эту дверцу и грохнулся на асфальт.

Немедленно сбежалась толпа местных жителей — шутка ли, русский мальчик убит литовской машиной! И поскольку случилось это как раз напротив той самой парикмахерской, Сеню подняли и внесли внутрь — до приезда скорой.

Кто-то склонился над ним, шумно принялся и сказал:

62 — Это не кровь. Это лак для ногтей.

После чего лёгкие пахучие руки смыли с его лица все потёки и брызги, заодно продезинфицировав ссадины.

— Дружище, ты можешь вернуться к жизни, — прогудел басовитый голос. — Пора взглянуть на мир: он широк и прекрасен.

Сеня осторожно открыл глаза. Он полулежал на красной бархатной козетке, вокруг него, умножая горящие лампы, сияли зеркала, поодаль тихо в ряд сидели безголовые женщины; вернее, на головы их были надеты какие-то овальные вёдра. А над самим Сеней нависала шишковатая лысая голова со вздыбленными бровями, с мясистым носом.

— Здравсьте, спасибо! — сказал он этой лысой голове и мясистому носу с седыми пучками в каждой ноздре. Главное же — большим и нежным рукам, которые деловито трепали его загривок, будто примериваясь заодно уж подстричь его и освежить. — Большое вам спасибо! Я побегу?

— Малый, ты клоун? — спросил старый парикмахер. — Может, ты — маньяк?

Ага, именно в той парикмахерской, пропахшей парфюмерными запахами, к которым добавил свою нежданную компоненту и Сеня, он впервые услышал о себе вот это самое слово...

«Почему ж он тебя заодно не подстриг? — пожимала плечами мама. — Уж если ты сидел в кресле. Это же логично!»

А на автобус они с мамой успели. Тормознули его на углу, когда тот отчаливал от платформы, чтобы повернуть на основную трассу. Кричали, прыгали, размахивали билетами...

Вот говорят, литовцы недоброжелательные. Но данный шофер-литовец остановился же (а мог и мимо проехать!) и, качая головой, сурово смотрел, как Сеня с мамой взгромождаются в салон, тяжело дыша и волоча неподъёмные чемоданы с качественным прибалтийским трикотажем.

Не в этом дело! Мир всё-таки широк и прекрасен... Да и что той жизни...

### **«Под канадку»**

Боевой дед Саня, то есть Александр Моисеевич, в смысле — Сендер Мойшевич, был сильным козырем младшего Гуревича.

Инженер авиации, начальник ремонтных мастерских аэропорта Пулково — дед воевал, был трижды ранен, тяжело контужен, а в середине живота носил остроконечную пупочную грыжу — тоже боевое приобретение.

К началу войны дед служил в Ростове, в авиационном полку, и в ноябре сорок первого, когда немцы неостановимо катились на Ростов, деду было поручено эвакуировать самолёты в считанные часы.

Самолёты, рассказывал внуку дед, смотрели винтами в сторону, откуда грозили ворваться на лётное поле немецкие танки, так что их пришлось



64 разворачивать вручную, за хвосты. Вот тогда дед и заработал свою грыжу.

Воображение младшего Гуревича рисовало грандиозную картину: дед-Гулливер (вообще-то он был весьма скромного роста) хватает за хвосты сразу несколько связанных верёвочкой самолётов, ррразворрра-ачивает их в нужном направлении... и чуть ли не под дулами немецких танков те разгоняются и исчезают в облаках!

*Гораздо позже супруга Гуревича Катя говорила, что крепко, видать, дедуля был контужен, если привиделось ему такое кино. Но сам Гуревич свято верил всем историям своего боевого деда. И как-то один старый лётчик в разговоре с ним подтвердил, что бывало, всяко бывало: взлётных полос тогда не было, места для разворота — тоже; взлетали с утоптанной земли, а самолёты вообще были фанерные...*

И уж вовсе не нуждается в доказательствах тот факт, что с *послевойны* и до самой смерти дед проработал в аэропорту Пулково начальником ремонтных мастерских.

Был он непрост по характеру, задирист и прямолинеен; легко разгонялся, с трудом тормозил... В общем, дед был настоящим контуженым психом, а боялся только одного человека: бабушку Розу. Занимая внушительный начальственный пост, по натуре дед оставался настоящей рабочей косточкой, соответственно и выражался, — хотя при внуке старался сдерживаться и потому делал

крен в другую сторону, в сторону ласкательных суффиксов. Так, ему казалось, он уравнивает речь. «Ну что, Сенечка-сынуля, — спрашивал, — захаваем мороженку-пироженку? Или ну его на хер?».

Однажды летом их с бабушкой Розой каким-то безумным ветром принесло в Вырицу — проведать внука и дочь. Главное, деду не терпелось поудить, хотя рыбаком он был вдохновенным, но неудачливым. Баба Роза говорила, что наиболее праздничный его улов — три кило корюшки, купленной на уличном лотке.

Но возражать деду или останавливать его на пути к предполагаемому торжеству никто не решался, да и день был такой чудесный, с солнечным ветерком, со щекастыми облаками. Верхушки сосен так и гуляли по небу, выметая за порог эти самые облака.

Захватив удочку деда Никона, они вдвоём — Сеня и дед — спустились через лесок под гору, сняли у местного парнишки лодку за рубль (якорь в ней заменял камень на верёвке) и выплыли на простор речной волны. Речная волна, кстати, была в этом месте довольно сильная, якоря явно не хватало. Дед забрасывал удочку («Ах, Сенечка-сынуля, какую рыбочку-рыбулю в детстве я ловил у нас в Казимировке!»), но лодку относило течением, леска закручивалась бородой... Дед безуспешно принимался её распутывать, самовоспламеняясь со скоростью лесного пожара. Равновесие его речи стремительно нарушалось.

66 «Едрить твою в корму, Сенечка-сынуля! — кричал дед в исступлении, пытаясь распутать леску и пиная ногами лодку так, что та безумным дервишем крутилась и плясала посреди Ореджа. — Долбить её клювом в жопу!!!»

Наконец дед бросил удочку на дно лодки и минуты три, упираясь кулаками в колени и вытягивая шею, без перерыва матерился уже без единого ласкательного суффикса, внука даже не замечая, — что не так уж и плохо: Сеня знал песню про Степана Разина, даже любил её, но не хотел бы разделить участь княжны в набежавшей волне. Он просто сидел и ждал, пока его контуженый дед успокоится и поймёт, что не в рыбалке счастье.

«А знаешь, сынуля, — удивлённо сказал чуть позже умиротворённый дед, поднимая со дна удочку, — она, похоже, от испуга сама распуталась...»

\* \* \*

Раз в месяц в субботу дед Саня — в фетровой шляпе, в драповом пальто — заезжал за младшим Гуревичем в школу и увозил его на выходные в авиагородок, где жили они с бабушкой Розой в уютной однушке, обвязанной бабушкой от пола до потолка: салфетки, покрывальца, скатерти и даже гардины...

Но по пути они обязательно заезжали в парикмахерскую аэропорта, где щёлкал ножницами знаменитый мужской и дамский мастер дядя Герман. Сеня с дедом усаживались в соседние

кресла, и дед говорил: «Гера, под канадку!». Она так и называлась, эта стрижка. Чтобы Сеня не скучал, дядя Герман открывал потёртый, но неумовимо шикарный авиационно-кожаный сакво-яж, вынимал из него яблоко сорта «белый налив» и угощал мальчика. Яблоки этого, любимого им, сорта привозили ему стюардессы с *разных югов*.

Дед Саня довольно крякал и говорил: «Щелкопёр ты, Гера, и дамский угодник!» «Не вижу здесь дам, Александр Мойсеич, — невозмутимо и лукаво возражал дядя Герман. — Уж не ты ли та дама?».

Из парикмахерской дед и внук выходили совершенно одинаковые: с боков снято практически все, впереди — косоватый чубчик, над виском тонкий пробор. В общем нечто вроде полубокса. Пятнадцать копеек — дед, пятнадцать копеек — Сеня. Дёшево и очень, очень сердито!

Дед Саня пьяницей не был, но выпить любил; на этот счёт в ходу у него даже имелись разные прибаутки — то ли им сочинённые, то ли где-то позаимствованные. «Водку?! Утром?! Натощак?! — восклицал он с отвращением на лице. И тут же расплывался в улыбке: — С удовольствием!». Впрочем, Сеня только раз видел, как дед напился — от волнения. Это было, когда праздновали его шестидесятилетие, и в их квартиру набилась тьма народу, все сослуживцы, даже начальник аэропорта захватил вручить деду почётную грамоту, а это, отмечала бабушка Роза, особа сдержанная, кое-чего да стоит.

68       Заслугами-грамотами-орденами дед никогда не похвалялся, но однажды рассказал внуку «некую счастливую историю». Про то, как внезапным налётом в Пулково прилетел товарищ Молотов: «На американском самолёте. Там дверца гораздо выше. Наш трап не доставал до неё метра так полтора».

Начальник аэропорта вызвал деда и объявил, что товарищ Молотов садится через сорок пять минут и надо в срочном порядке доварить ступени и поручни трапа, чтобы до дверцы доставал. «Не будет сделано вовремя, расстреляю всю бригаду!» — пообещал он. И было видно, что расстреляет: у самого поджилки тряслись так, что даже усы его пообвисли.

«И знаешь, Сенечка-сынуля, — рассказывал дед Саня безмятежным голосом, — всё мы успели. Всё аккуратненько сварили и ковровой дорожкой закрыли свежесваренную часть, так что, когда приземлился товарищ Молотов, наш трап шикарно, как птица, уже летел к самолёту, никто ничего и не заметил... И нам, всей ремонтной бригаде — наградные листы выкатили! Шутишь: повышение звания на одну звёздочку... Мы на радостях очумели все и так надрались, что наутро всей бригадой не вышли на работу. Это в те времена, когда сажали за пять минут опоздания! А тут — ужас! — вся бригада ремонтных мастерских аэропорта Пулково не вышла на работу. Тут уже точно могли расстрелять.

И вот стоим мы перед начальником: рожи мятые, помертвелые. В руках у него — пачка на-

градных наших листов. И он: «Петров Дмитрий Павлович повышается до звания лейтенанта!» — рвёт наградной лист мелко так, тщательно и бумажные клочки Митьке в морду швыряет. «Вертепов Фёдор Васильевич повышается до звания старшего лейтенанта!» — рвёт лист и клочки Феде — в морду...

Так всю бригаду обошёл, порвал все наградные листы. Мы стоим, вытянулись, как повешенные. Головы, плечи — в клочках бумаги; пол весь усеян, как первым снегом. Стоим, счастли-ивые-е-е!»

«Как это?! — недоумевал внук, представляя клочки наградных листов в волосах и на плечах деда Сани. — От чего счастливые?!»

«Ты не понимаешь, — терпеливо объяснял дед. — Не можешь сейчас представить, как легко все мы отделались. Такое время было: любой мог донести. Тогда он сам бы за всё собственной головой ответил. Вот какой замечательный мужик был наш Батя!»

Дед Саня *босяк был* — так говорила бабушка Роза, хотя младший Гуревич считал это странным: дед любил хорошую обувь, ему шил её специальный мастер с учётом мозольной топографии. «Босяк, босяк. Из босяцкой семьи», — отмахивалась бабушка Роза. Сама-то она была — о-го-го из какой семьи, хотя родом всё из того же местечка под Витебском. Но её мама выходила гулять с кружевным зонтиком, и встречные соседи говорили ей: «Доброе утро, мадам Рыбакова!». Дед же

70 родился в босяцкой семье последним, тринадцатым ребёнком. У него было одиннадцать сестёр и ещё брат Гриша.

И вот с этим братом Гришей у деда Сани были не то что разногласия, но абсолютная нестыковка характеров, интересов, строя речи да и жизненных установок. Температура тела, говорила бабушка Роза, не совпадает. По сравнению с Саней, говорила она, Гриша — покойник.

Дед, боевой офицер, повелитель авиационных моторов и всего самолётного нутра, всех: и друзей, и сослуживцев, и подчинённых, и родственников — всех судил по большому счёту, полным аршином мерил. Никогда не искал блох, не вдавался в мелочи, не копил грошовых обид; но, если человек совершал подлость, предавал кого-то или втихую выгадывал, — дед без единого шанса на оправдание вычёркивал того из своей жизни.

Дедов брат Гриша был инвалидом. Вернее, всю жизнь он был «чуть-чуть инвалид»: ходил с палочкой; поднимаясь по лестнице, на каждой ступени отдыхал... но — Сеня видел сам — очень ходко, бывало, догонял трамвай. В армию его не взяли из-за хромоты, которую дед Саня именовал «хитрожопой».

Но у Гриши был общественный темперамент. Он возглавлял множество обществ, содружеств и комитетов — например, комитет «За порядок во дворах и на улицах». Он постоянно писал письма в какие-то инстанции с предложением или требо-

ванием что-то улучшить, достроить, убрать, внести в список или, наоборот, из него вычеркнуть. С энтузиазмом ходил по квартирам, собирая подписи жильцов, добиваясь переноса качелей или детской песочницы левее метров на сто.

Дед всей этой блохастой возни не одобрял, Гришу не жаловал, но, будучи человеком семьи и долга, время от времени говорил бабушке:

— Розочка, что-то мы давно не приглашали Гришеньку в гости.

Бабушка отвечала:

— Саня... ну, будет как обычно.

— Нет-нет, Розочка, — ласково возражал дед, — мы давно его не приглашали. Давай-ка, сооруди обед, я куплю бутылку водочки, и мы с Гришенькой выпьем. Всё же мы братья.

Он звонил Грише, так же душевно и настойчиво зазывал того на обед. От уменьшительных суффиксов в его бормотании можно было засахариться...

После чего всю субботу дед ходил чрезвычайно собой довольный. Вечером выпивал свою стопку, просматривал газету, горячо интересовался учёбой внука. (*«Сенечка-сынуля, какого хрена вам не преподают механику? Вы же, детоньки, ни хрена не умеете, ручки у вас из жопы растут».*)

В воскресенье к двум часам дня закуски уже стояли на столе, а водка крепла в холодильнике.

И всегда минута в минуту в прихожей звенел звонок, вернее, большим ржавым гвоздём вон-



72 зался в воздух (баба Роза становилась глуховата, и потому звонок дед установил с песней поядре-ней). Появлялся дядя Гриша, ставил свою палочку в угол и медленно разоблачался: снимал шляпу, пальто, скovyривал с ног ботинки и надевал тапочки, — до последней минуты оставаясь в шали... Из-за слабых бронхов Гриша с ранней осени и до поздней весны вместо шарфа носил женскую оренбургскую шаль, заботливо укладывая её на груди крест-накрест. Баба Роза каждый год вязала и дарила ему добротные мужские шарфы, серые или синие, в широкую чёрную полосу; такие были у Сени, у деда и у папы. Но Гриша упрямо держался своей старушечьей шали, местами уже драненькой, похож в ней был на бедняцких героев Диккенса и уверял, что греет она бесподобно: «Это ж коза натуральная! Бронхи прогревает аж до спины!»

Все садились к столу, и какое-то время в комнате витала родственно-семейная благодать. Дед провозглашал своё любимое: «Утром? Водку?! Натощак?! С удовольствием!» — и братья выпивали по первой.

Затем набрасывались на Сеню, допрашивая на предмет успеваемости и сокрушаясь об уровне нынешнего образования, — чего он терпеть не мог, считая занудством и бестактностью взрослых. Потом, оставив его в покое, скатывались уже к полной чуши: погода — то, погода — сё, весна нынче поздняя, осень нынче ранняя... Сеня ни-

когда не понимал: сколько можно жевать прогноз погоды, тем более что тот никогда не сходится с жизнью.

После чего дед говорил:

— Ну, Гришенька, как дела, что нового... докладывай!

Разогретый водочкой, разруганный Гриша докладывал:

— Ой, Саня, у нас такая радость, такая победа! Пять лет мы писали письма в горисполком, чтобы остановку троллейбуса перенесли на сто метров вправо, и вот наконец... Ты же помнишь это неистовое сражение!

Повисала пауза. Дед Саня мрачнел, громко выдыхал воздух, опрокидывал в рот рюмку, аккуратно поддевал вилкой кусок селёдки, попутно нанизывая на зубец луковое колечко... Наливал себе ещё и сразу выпивал в тяжёлом молчании.

— И представь, — увлечённо продолжал Гриша, — вчера мы получаем письмо за подписью товарища Пархоменко о том, что остановку переносят на сто метров, но не вправо, а влево...

Бабушка Роза тревожно поглядывала на деда, сверяясь по каким-то своим часам, не пора ли вмешаться и вставить, по её словам, деду клинья. По мере движения дедовых бровей она начинала готовиться... но никогда, бедная, не успевала. За дедом разве поспеешь! За ним и фрицы не поспели...

А вот дядя Гриша никогда ничего не замечал, увлечённо внимая себе одному. Тот ещё долдон был.

74 — Я сажусь и пишу решительную отповедь, — в упоении токовал он, — так и так, уважаемые товарищи, нам было обещано другое, в доме шестнадцать проживают семнадцать пожилых граждан, и те пять минут, за которые они доходят до остановки, нужно умножить на триста шестьдесят пять дней в году... Тогда получится... постоите-ка, граждане-товарищи... что ж это получается?! — он прикрывал глаза, шевелил бледными морщинистыми губами, мысленно подсчитывая *метрошаги* или *шагодни*...

Вот тут дед поднимал голову и отчётливо произносил:

— Гриша! Иди ты на хер!

Звякали вилка и нож — это бабушка Роза бросала их на тарелку в досаде, что опять не успела деда удержать.

А Гриша, разгорячённый «докладом», запинаясь на полуслове, как, бывает, на дороге заплнёшься о камень или корягу... С минуту растерянно озирает стол и родню, затем оскорблённо поднимался и шёл в прихожую. Там он молча переобувал тапочки на ботинки, крест-накрест укладывал на груди оренбургскую шаль, надевал пальто, брал шляпу и палку и уходил.

Уходил...

А дед потом долго сидел, свесив седую голову над своей тарелкой.

— Розочка, нехорошо вышло, а? — спрашивал виновато. — Ох, как нехорошо вышло...

— Саня, ну... Вышло как обычно, — невозмутимо отвечала бабушка.

**Бывшая Первая образцовая 75**

Школа, куда совершенно случайно по месту жительства угодил Сеня Гуревич, была элитарной, с английским уклоном. Дед Саня, рабочая косточка, презрительно именовал её «Цирлих-манирлих», — хотя биография у заведения была достойной: после революции какое-то время школа носила гордое имя Первой образцовой.

Здание её стояло на улице Мира, за углом от «Ленфильма», так что от разных помрежей отбоя не было: они приходили набирать массовку, в которой школьники гуляли, горлопанили, толкались-дрались, спорили о предназначении советских детей, — в общем, мололи всякую киношную галиматью.

Учились в этой школе отпрыски ленинградской элиты: Сеня, например, сидел за одной партой с сыном капитана крейсера «Аврора», и, понятное дело, команда легендарного корабля шефствовала над их классом. В октябрюта и в пионеры детишек принимали под звуки трубы, под барабанный бой, на революционной палубе — торжественно и празднично!

Вот только Гуревич Сеня ни разу на церемонию не попал.

Он будто проваливался в щели, которые все прочие люди переступали, перескакивали или просто обходили. Недаром он так любил старые фильмы с бродяжкой Чарли, где тот перелетал из

76 одной передряги в другую, где его перемалывали шестерёнки чудовищных механизмов и лупцевали все случайно подвернувшиеся бугаи.

Гуревич пока не знал, что жанр его биографии — буффонада, хотя и грустная; он ещё пытался увильнуть от судьбы и, бывало, унывал, если падал мордой в торт или пытался вырваться из-под града кулаков.

Тут нельзя не отметить крайнее несовпадение внутреннего мира этого мальчика со всеми институтами любого, не только советского, общественного строя. Ничему он особенно не противоречил и не сопротивлялся, к социальным протестам склонен не был, тем более в столь нежном возрасте. Но как-то так выходило, что первое же слово, движение или прилюдный поступок Гуревича — в школе, во дворе и далее всюду по жизни (причём во всех странах и на всех континентах) — шли вразрез с общепринятыми словами, поступками и понятиями местного населения. Всю жизнь Гуревич влипал в истории одна краше другой.

Справедливости ради следует заметить, что в невинные жертвы Гуревич не годился. Сеня вообще был нелёгким мальчиком: болтливым, начитанным, любопытным, язвительным. Он был колючкой в заднице; с ним не справлялись. С хулиганами и двоечниками в советской школе знали, как справиться; Гуревич же всех озадачивал. Он всегда хотел только хорошего — настырно, искренне и дружелюбно: только хорошего и, может, ещё чуть получше, он знает, как это делается.

Он старался обратить внимание сверстников и учителей на забавные стороны жизни и событий и радовался, когда ему это удавалось. На уроках пытался шутить, что-то выкрикивая — ему казалось, в самую точку, — однако договаривать и дошучивать учителя отсылали его в коридор, а соученики вообще не понимали — откуда он, падла такая, взялся!

К тому же он увлечённо рифмовал всё, до чего дотягивался, такой вот обнаружился дар — не совсем поэтический, скорее надоедливо-вредоносный. Когда их классной руководительнице Нине Анатольевне исполнилось сорок три года (она скрывала возраст, очень за собой следила, ногти на руках каждую неделю покрывала лаком другого цвета), Гуревич выпросил у мамы чистую открытку «С днём рождения!», где на обороте размашисто написал: «Детский возраст — сорок три! Плюнь и разотри!» — и положил Нине Анатольевне на стол.

— Это что за панибратство со взрослыми, Гуревич! — кричала директриса, указательным пальцем тыча в открытку, лежащую перед ней на столе. — Что это за тыканье учительнице!

— Но... по-другому же не зарифмуешь, — охотно объяснил Гуревич. — Три-разотри. А что? Это зависит от возраста. Вот вам сколько лет, Татьяна Фёдоровна?

...В общем, с первого класса обнаружилось, что Гуревича при первой же возможности будут бить, — такое вот общественное предназначение,